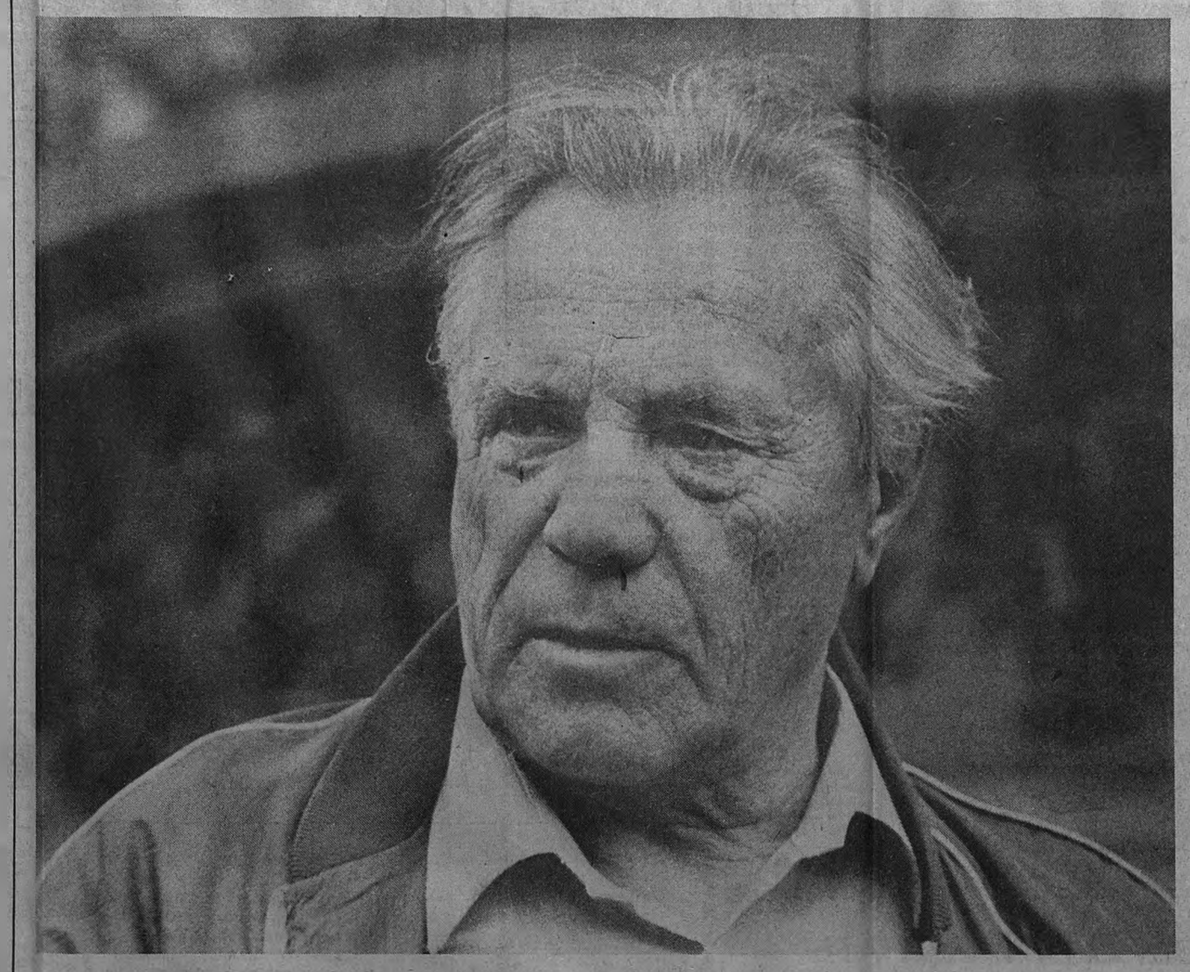

● *В. Астафьев.* Фото А. Сизухина.

Ал. Михайлов

ЖИВЕТ В СИБИРИ ПИСАТЕЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Русская литература имеет свои отличия, и одно из них мне хотелось бы выделить, считаю, что оно связано с Астафьевым. Отличие исходное, от натуры, от характера, какой задался русскому человеку. От стихийности его, от безбрежности, от разгула страстей, когда летят к черту на рога доводы разума и глаза заволакивает пелена восторга или ненависти. В этом нет ни заведомой положительности, ни заведомой беды. И все зависит от того, куда и на что направлена страсть.

В разгуле страсти русскому человеку и море по колено, как Рогожину у Достоевского или Григорию Мелехову у Шолохова. И в писательстве он готов вывернуть себя наизнанку, готов вовлечься в самую темень души своих персонажей, обнажить всю мерзость человеческого дна.

Это ведь не просто рубаху рвануть на груди (и за этим характерным жестом — закипающая страсть, изготовка к чему-то предельному), а и самому писателю бесстрашно открыться словом ли, жестом, поступком, открыться до донышка, до сукровицы: вот он, я, какой, нет у меня в душе лада, судите меня, люди, но поглядите и в себя, в других...

А то еще горазд русский человек и поюродствовать от ума. Никто другой — огнепальный протопоп Аввакум глаголит: «Глуп ведь я гораздо, так, человеченко ни к чему не годно, ворчю от болезни сердца своего». Вот и Астафьев тоже про себя: «Попал с суконным рылом в калашный ряд...» Аввакум самоуничтожается, чтобы здесь же, в вонючей и сырой землянке без дверей, воспрять в непокорстве и духовном величии и через тысячи верст, через ледяные пространства тундры — от края света, Пустозерска, до иных пределов Руси — опалить огненным словом сердца православных. И уж ни кнут, ни дыба, ни пытки голодом и холодом, ни уговоры не согнут выю этому человеку. И даже над пламенем деревянного сруба, в котором сгорит его плоть, вздымется рука с двуперстием — знак непокоренного духа!

Это отличие русской литературы: безоглядность в обнажении человеческой души, погружение в самую темноту ее, выставление ее на казнь — нравственные терзания на грани мазохизма. Я не встречал этого в столь драматическом сгущении ни в одной из литератур, мне доступных.

Были и есть в русской литературе блистательные стилисты, мастера сюжета, метафористы, экспериментаторы, авангардисты — на любой вкус. Хотя и они — наделенные высоким даром, а не выдавливающие эксперимент из месива разнородных литературных отходов, — все они русского корня, что Белый, что Хлебников, что Маяковский...

Но тянется, тянется сквозь столетия, не иссякает это буйное, несворотное в характере, в речи, в писательстве, тянется от страстотерпца и воителя Аввакума и дальше. Через Радищева в восемнадцатом веке, Достоевского, Толстого — в девятнадцатом, Платонова, Шолохова, Солженицына — в двадцатом — и их правопреемникам. Виктор Астафьев из той **породы**, из того корня. А судьба с детства уготовила ему пройти все искусы детдомовского сиротства, протерла и прощелочила в окопах Отечественной и участливо следила за тем, чтобы не закоснел раб Божий Виктор в душевном комфорте, нанося ему большие и малые рубцы на сердце.

Оттого он и подымает спрос к человеку. И, пожалуй, не все сказал Александр Макаров, считая **доброту** определяющим чувством в сочинениях Астафьева и не ставя рядом **суровой требовательности**. Строгий, строжайший, пытошный спрос к человеку — вот с чем ведет нас писатель через свои книги, знакомя с вереницей людей, показывая их в делах, поступках, в речах и думах, наедине и в человеческом скопище, заглядывая в сутемень души, собственную душу надрывая от боли, когда видит чью-то беду.

Страдание рождает **такую** литературу.

ВИКТОР Петрович Астафьев — сибиряк. Коренной. Среди них редко встретишь незаурядного человека, который бы не пережил резких изломов судьбы. И все, о чем он пишет, какими-то путями прошло через его жизнь, прямо ли, боком, отражением задело его. Писательский дар всей этой гигантской груде впечатлений виденного и пережитого придает пластическую завершенность и стройность целого. Некоторые страницы его книг криком кричат. Книги Астафьева кричат безмолвно, немо — судорогами боли, страданием, они кричат от бессилия изменить жизнь, побороть зло, отвести беду от человека, пробить стену бессердечия, прорваться сквозь темноту к светлому в человеческой душе.

Не шибко порадела жизнь к Астафьеву, и он к ней суров. Только суров не в отмщение, ведь жизнь — великий дар человеку, а в обиде за ее несовершенство, в котором сами же люди и виноваты, и за людей, пришибленных ею. Бывает, вередит человека жизнь на крутом повороте судьбы, и он канючит все оставшиеся дни, клянет ее и все на свете, себя только видит обиженным. Вот чего Астафьев не переносит!

Но в то же время, уж коли за правду-матку — то и может объявить свою отечественную войну и ведет ее в одиночку, да с кем? — с генералами, которые вышли победителями из той Отечественной, в сороковых годах! Солдат-окопник против генералов — во как! И не то чтобы из озорства — знай, мол, наших. Не-е-ет. Не раз я слышал, как Астафьев сердился по поводу хвастливых военных мемуаров, пустой громкой словесной трескотни, приуроченной к победным годовщинам, и при этом вспоминал, приводил примеры бессмысленных людских потерь, бездарно проведенных операций, тупости и жестокости некоторых офицеров и генералов. Это ведь то, о чем еще почти и не сказано в литературе о войне. Недавно Астафьев заявил: «...настало время писать о войне по-другому». Думаю, что не я один с нетерпением жду астафьевский роман о войне, который объявлен «Новым миром» в будущем году.

Восемнадцать лет в Чусовом. Газетная каторга. Потом Пермь. Тогда, помню, появились упоминания о прозаике по фамилии Астафьев — не то откуда-то из Сибири, не то с Урала... Из Перми, уже первоначально утвердившись, он переехал в Вологду. Может, чтобы к Москве поближе, а может, по сродству душ с вологжанами. И вернулся к родимому порогу в деревне Овсянка, к разливанному морю Енисея. Писал мне тогда про это в одном из писем, которыми изредка обмениваемся, что, мол, истосковалась душа по родной стороне, еду, Бог, видно, позвал...

Запомнились его слова насчет веры в каком-то телевизионном интервью. Вопрос был задан — верует ли в Бога? Астафьев горько посетовал, что воспитан в безверии. Он говорил о том, что нельзя в одночасье стать верующим, что веру надо выстрадать, надо прийти к ней путем долгих исканий, что нельзя похерить в своей жизни ту ложь, которой осквернил душу (тут он прямо ссылался на свою работу в газете).

И доброта астафьевская проявляет себя по-христиански, движет перо писателя, когда, вглядываясь в душу человека, он и пятнышка малого там не найдет. Не только добром на добро откликнется, но, по прежнему обычаю, низкий поклон за него отвесит, как бабушке своей Катерине Петровне. Ей-то на всю почти сознательную жизнь растянул тот «последний поклон», что скрепил одну из самых трогательных и горьких книг о детстве и отрочестве, которыми богата русская литература.

Хватает доброты у Астафьева на добрых людей, и, несмотря на верховный спрос, он и на худых людях не торопится ставить крест. А особенно приветит тех, кто сам себя тщится приподнять. Иван Тихонович из рассказа «Жизнь прожить», хоть и замороченный газетным агитпропом, так размышляет:

« — Вот скажи ты, что дадено человеку, а?.. С одной стороны, поджигателям войны неймется опять все порушить, передавить, изуродовать, с другой — взять, что во мне, скажем, на самом дне лежало, песком, землей, прахом замытое, все это из тьмы кромешной, из хаоса золотинкой добыть, жизнь высветлить...».

Углядев в человеке **это** «на самом дне», Астафьев и придвигается к нему поближе, и прислушивается, и слово его наливается теплом сочувствия: вишь, о чем мужик задумывается! — о душе, о золотинке на дне ее, а ведь не великий грешник, добра немало сделал и, пройдя уже поле жизни, никакой особой чернотой не заоголил себя.

Даже в «Печальном детективе», где до удушья доводит чернота не одного персонажа — многих, где ревмя реветь хочется от бессилия, глядя в помутнелые глаза и звериный лик преступности,— даже там сверкнут нетленным светом бабьего всепрощения тетя Лина или тетя Граня, даже там, обретаясь в кровяном сумраке преступного бытия, перенося от него физические и душевные травмы, хранит себя неутолимой верой в добро живчик-милиционер Леонид Сошнин, в сорок два года вышедший на пенсию по инвалидности.

Кто-то из критиков укорил Астафьева за милиционера-идеалиста, таких, мол, нет и не бывает в наше время. А хоть и нет? Только кто знает? А Астафьев душу себе выматывает, чтобы **были**. Да почему все же и не поверить, что и есть? Мало ли милиционеров, каждодневно несущих опасную службу и принимающих в себя удар ножа или бандитскую пулю, защищая безопасность и покой граждан? И пусть они не читают «Экклезиаста», не изучают немецкий язык, чтобы в подлиннике знать Фридриха Ницше,— а к свету, к знанию тянутся. И больше — к познанию души человеческой. Может, потому и **сочинитель** — главный персонаж «Печального детектива», что Астафьев доверил ему высказать кое-что свое заветное, над чем он бьется-мается, сидя за письменным столом.

И не те ли задания задает себе Сошнин, какие задает себе писатель Астафьев? И не потому ли главный персонаж его романа — **милиционер**, чтобы как можно ближе внедрить себя в преступную среду, где вспышками небесного света озаряются потемки человеческой души у тех, кто ведет борьбу с ними и где звериный оскал убийцы цепенит ум, отказывающийся понять, как это двадцатидвухлетний «добрый молодец» походя заколол трех человек и тут же, после «горячей работы», охлаждается мороженым...

Я совсем не хочу подставлять Астафьева на место Сошнина, учитываю разные уровни личности, но велик ли, скромен ли талант, данный человеку от природы, однако же если он есть, то устремляется к той же заветной цели, пусть и не всегда посильной, иначе — оставь стило и не марай бумагу.

Милиционер из провинциального российского городка Вейска предстает выразителем **общечеловеческого,** внятного всем нормальным людям. Он отнюдь не порождение кабинетного замысла и отнюдь не замкнут в круге взаимоотношений милиции и преступников. Он — близкий и понятный нам **человек. Член общества.**

ОДНА из книг Виктора Астафьева называется «Зрячий посох». Это означает — память. Разговор о книге впереди, но метафора в этом словосочетании заключена более многозначная. И всегда меня удивлявшая и восхищавшая приметливость Астафьева, его талант все ухватывать взглядом, сказывающийся прежде всего в художественном творчестве,— это не что иное, как невидимый «зрячий посох», который и ведет его через всю пестроту и безбрежность жизни своим путем.

При постоянном и самом живом общении с людьми он ухитряется ничего не упускать из виду. Сидит Астафьев в плотном окружении людей, слушает, сам рассказывает, жестикулирует, хохочет и... видит то, что происходит в удалении. На большом приеме как-то, в Пятигорске, сидит с Марьей Семеновной в «президиуме» П-образного застолья, около него все время шьются какие-то люди, подходят, что-то говорят, чокаются, он никого не отвергает, выпивает умеренно, сам охотно что-то рассказывает... Все идет своим чередом. Вдруг официант передает записку. Читаю: «Саня, тебе скучно, подсунься к нам с Марьей, место найдем». Сидевший где-то на самой Камчатке, я повернул голову в его сторону, а он сделал знак рукой, следил, видно, показал место рядом. Тихо выбираюсь из-за стола, подхожу: «Тут же занято, кто-то сидит?» «Садись,— дергает меня за рукав Астафьев,— вон видишь, С. ходит по столам, со всеми братается. С каждым по рюмке. После десятой уже не вспомнит, где сидел».

Ох, хитроват Астафьев, отгородился от назойливых «побратимов», с одной стороны — Марьей Семеновной, а с другой — мною, и теперь сидит как кум королю, и так ловко, весело и задорно, то метким словцом, то короткой репликой сопровождает особенно шумные тосты, звучащие в зале, что словца эти и реплики будто приклеиваются к нетрезвым витиям.

Неизменный его спутник в поездках — Марья Семеновна, жена, друг и помощник Астафьева. Их повязала-скрепила, кроме всего, общность судьбы. «Марья у меня — солдатка»,— не раз слышал я от Виктора Петровича, и говорено это было хоть и без голосового нажима, но со значением, с каким сам Астафьев носит солдатский титул. Повязали-скрепили их и общее горе, потеря дорогих и близких, отметины-рубцы на сердце от ударов судьбы.

Сама не лишенная литературных амбиций (она автор нескольких книг), Марья Семеновна состоит при своем муже не только женою, на которой— при большой-то семье да в наше время! — дом держится, а и бережительницей его покоя и самочувствия, кое в чем деловой и прямой помощницей. Не стану говорить о том, сколь многотерпеливой и покладистой ей надо быть с человеком, запойным в работе и нетерпимым в это время ко всему остальному, забывающим о еде и отдыхе, не замечающим никого вокруг. Астафьев как-то сам намекнул на это, хотя не стал разбавлять краски водой и вещать про муки творчества, дело это интимное, не преступлю и я межу, обозначенную им.

Астафьев — азартный человек. Это легко понять, раз-другой послушав его. В компании — большой ли, малой — он быстро возгорается. Его память — «зрячий посох» — хранит в себе бесчисленное множество жизненных историй, баек, анекдотов. Причем анекдотов, как правило, не тех, что передаются из уст в уста, а им же, Астафьевым, извлеченных из моря житейского и в устном изложении преобразованных в анекдот. Стоит только кому-то начать, что-то рассказать, как Виктор Петрович тут же вскинется, лицо его, в паутине морщинок, просверкнет молодой улыбкой, и — пошел! И сам так искренне удивляется рассказанной истории, так заразительно хохочет, что уж никто удержаться не может.

В устных рассказах, где он нередко выступает действующим лицом, тоже себя не щадит, представляется и смешным, и неуклюжим, и уродом — по одежке, по внешности, по «периферийной» простоватости. А ведь умен, как змий! То же, что и в прозе, особенно — в публицистике, где слово идет от себя. Лукавит Виктор Петрович. Да опять же шибко и не скрывает этого. И когда сбивается на публицистику, ухватывает какую-либо «модную» тему, не обязательно литературную, но и литературную — тоже, тут полемический азарт захлестывает его, астафьевское слово становится как будто и не астафьевским, а похожим на что-то читанное, где-то мелькавшее, оно тянет за собой эрудицию, которая в разных местах выступает как сахар прошлогоднего варенья.

Но есть другая публицистика у Виктора Астафьева. Я бы ее назвал публицистикой самосожжения в отличие от публицистики словесного уязвления. Там не о литературных шаркунах или «литвождях» речь, не о рок-ансамблях, которые вряд ли могут внести гармонию в расположение души нашего поколения, но ведь нравятся молодежи и — пусть себе! — а о судьбе крестьянства, народа, о судьбе земли и всего природного богатства на ней и в ее недрах, о судьбе России, страны. Вот где слово Астафьева обжигает. Оно сливается с картинами жизни в «Последнем поклоне», в повествовании «Царь-рыба» — главных созданиях писателя. Открывши сердце этой боли и этой любви, этому гневу и страданию, начинаешь понимать: «Там человек сгорел».

ПРОЗА Виктора Астафьева — это «Последний поклон», «Царь-рыба». Визитная карточка писателя. Произведения, вместе с «Пастухом и пастушкой» поставившие его в первый ряд писателей-современников. «Последний поклон» — картины жизни разных лет, с раннего детства. Начинался он рассказами, еще без замысла стать большой единой книгой. Потом рассказы составили цепь повествования, связанного общими персонажами и прежде всего самим рассказчиком. Начало было положено более трех десятков лет назад. В этом году мы прочитали рассказ «Не хватает сердца» («Наш современник», 1990, № 8), он написан давно и не был опубликован, видимо, по цензурным соображениям. Рассказ косвенно обращен к соседу по каюте на теплоходе, этакому вскормленному в современном Норильске «парижанину», представляя которого Астафьев не жалеет сарказма.

Трудно сказать, разворошит ли совесть норильского «парижанина» рассказ, относящийся к «истории» Норильска. Жестокий и страшный, он читается с огромным драматическим напряжением. Один из вершинных, пиковых по трагическому накалу жизненных сюжетов в «Последнем поклоне». Теперь-то кажется: как же без него? Хотя и так вместе с главным персонажем повествования мы сопереживаем столько неутешного горя, бед и несчастий, что и верно — для них «не хватает сердца». Что же дает надежду и силу перебороть эту тяжесть, эту сердечную муку? Свет, исходящий от добрых людей. Не перевелись они на Руси и в самое смутное время, не перевелись и в богатой на разнолюдье Сибири. Добрейшая, светлейшая среди них — бабушка Катерина Петровна, она заменила мать и отца, согрела сиротство будущего писателя, Астафьев ведь не таится за вымышленным именем, он как **писатель** появляется в повести. Отдавая «последний поклон» бабушке, он казнит себя за то, что, как все мы, грешные люди, зачумленные разной маетой и эгоистически занятые обустройством своей жизни, не успел вовремя отплатить добром за добро, любовью за любовь, не проводил ее в последний путь. «Нет у меня таких слов, которые бы смогли передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею». У кого есть эти слова, если их нет у Астафьева?...

«Царь-рыба» — «повествование в рассказах». Мне-то кажется, что оно не вполне удачно, это жанровое определение, рассказ — тоже повествование, но и здесь, как в «Последнем поклоне», выдерживается принцип композиционной законченности, художественной целостности и самостоятельности каждого «рассказа». В поэзии это было испытано Твардовским: «Василий Теркин» и «За далью — даль». И прозаика, и поэта словно бы теснят канонические формы, и они пренебрегли условностями жанра, предоставили себе свободу самовыражения. У Твардовского я бы отдал предпочтение лирическим главам, родовому началу поэзии, у Астафьева — эпосу, картинам жизни, изображению, поразительной, будто доступной рукам и глазу астафьевской пластике. А это родовое начало прозы.

Да, проза Астафьева — это «Последний поклон», «Царь-рыба». Визитная карточка писателя. С этим не поспоришь. И не поспоришь, видимо, потому, что не переборото привычку восприятия. Толстого Льва Николаевича знают по «Войне и миру» и «Анне Карениной» даже те, кто их не читал, но кто при имени Толстого сразу помянет гениальный рассказ «Смерть Ивана Ильича»? Даже гоголевскую «Шинель», из которой, как сказано было, вышла русская литература Золотого века, вспомнят не прежде, чем «Мертвые души» и «Ревизора».

Я все это к тому, что Виктор Астафьев — выдающийся новеллист, рассказчик, и если бы — случись такое — он не написал своих повестей и романа, то и тогда место ему в русской литературе как блистательному мастеру рассказа было бы уготовано. Недаром ведь и повести он складывает из рассказов. А в рассказах, уже «внутри» жанра, разнообразен, изобретателен, хотя слово это «изобретателен», как и «блистательный мастер», пожалуй, не идет к Астафьеву, который нарочно не придумывает форму, она как-то сама по себе, без всякого колдовства над ней, складывается, словно облекает повествование, лепит его. По крайней мере так она воспринимается при чтении.

Рассказ «Ясным ли днем» я без колебаний отношу к шедеврам этого жанра. Художественный эффект здесь достигается не увлекательным сюжетом (у Астафьева есть такие сюжеты), не остротой конфликта (и это тоже есть в его рассказах), а сложностью и перепадами внутренней жизни, движением чувства главного персонажа, ветерана-инвалида Сергея Митрофановича, молодых ребят-призывников, едущих к месту службы, всею тональностью рассказа, прихотливо и тонко меняющимся настроением, зорко высмотренными живописными подробностями. И никаких внешних эффективных ходов, никаких ухищрений. Разве что песня? Так без нее вообще не обходятся проводы в солдаты. И прежде провожали с песней — лихой, горькой, рекрутской. А нынче, вон, голосят про черного кота, и не нравится это Сергею Митрофановичу. Сам он, когда подошло настроение, затянул любимую: «Ясным ли днем, или ночью угрюмою...». Да так-то ладно спел ее и открыл свою душу в песне, так растеплил души молодых ребят, что на всю, наверное, жизнь запомнится им эта нечаянная встреча и не раз ворохнет сердце светом воспоминанья. А эпизод из солдатской жизни Сергея Митрофановича, когда он был свидетелем и зрителем повешения «тайного агента гестапо» на глазах большого скопления народа, проводившегося как «воспитательное мероприятие», по психологической напряженности и остроте переживания я отношу к лучшим страницам прозы о минувшей войне.

О рассказах Виктора Астафьева еще не сказано внятного слова, это, наверное, впереди. Тут ведь надо критику, исследователю подняться до осознания, до со-чувствия и со-переживания на уровень самой требовательной и скрытой внутри человечности, вместимой и в короткие рассказы, они у Астафьева отличаются большой плотностью смысла. Некоторые «затеси» всего об одну-две странички, а прочитаешь, к примеру, «Кладбище» или «И прахом своим», и сникнешь головой на грудь, задумаешься о жизни — своей ли, общей человеческой, об уме и безумии людском... «Затеси» — знаки на пути. Может, это не рассказы? А почему? Видимого событийного сюжета в них чаще всего нет, а глубинный, не развернутый — на большой роман. Это и есть романы в зачатье.

УДИВИТЕЛЬНАЯ книга — «Зрячий посох». Уникальная в нашей литературе. Где бы это еще и когда писатель с такой известностью, как Астафьев, да хоть и поменьше, написал книгу о критике, книгу-память, книгу-благодарение! Поношения, подкалывания и подтрунивания — вот что привычно слышать о критике. И хвалу «своим». Или уж снисходительно выраженное «согласие» на ее существование, раз без критики нельзя. Астафьев тоже не безгрешен в этом деле, коли считать грехом безличный подход к критике.

Отчего все это? Да оттого, что в прежние десятилетия критику превратили в сферу обслуживания. Убежденный в таком ее предназначении, недостаточно обласканный писатель, какой-нибудь имярек, считая, что ему что-то недодано, что он не понят и недооценен, и выказывал свое недовольство. И ладно бы, считай себе как хочешь, так ведь нет, он начинает отыгрываться на критике: такая-то она и сякая, отстает, мол, от литературы, от жизни и т. д.

Взаимоотношения Астафьева и Макарова—особая статья, это отношения сердечного доверия. С одной стороны — истинный, большой талант, подкупающий своею органичностью, природной мощью, но еще шероховатый, диковатый, стихийный. С другой — эрудиция, опыт и такт. Причем такт не только в литературном «наставничестве», его и не заметишь в письмах Макарова: «педагогика» растворена в дружеских посланиях, но такт прослеживается и в человеческом общении людей разного возраста. И вот еще что надо бы уразуметь: многие ли вообще в наше время, подобно Макарову, захотят писать большие подробные письма с разборами уже опубликованных произведений, писать — извините! — бесплатно, когда надо строчить внутренние рецензии, статьи в журналы и газеты — зарабатывать на жизнь. А что поделаешь? Такова судьба критиков, живется им не шибко сытно. Макаров почуял недюжинный талант в Астафьеве и вкладывал в него свой капитал бескорыстно.

«Хороший в Вас растет писатель, характеры у Ваших героев свиловатые, столкновения и сшибки между ними по-мужицки крепкие,—пишет он Астафьеву,— и ни в чем, ни в репликах, ни в передаче состояния ни разу не ощутил я неловкости, фальши неверной ноты».

Макаров — увлекающийся человек, бывало, что он и ошибался, зато в Астафьеве не ошибся, зато открыл и поддержал Виля Липатова, Александра Рекемчука в начале пути, да и еще можно длить перечень. А астафьевская метафора — «зрячий посох» — высокая похвала Александру Макарову, обратным действием она высвечивает благородство того, кто с этим «посохом» отмеривал трудные начальные версты большого пути в русскую литературу.

Общительность Астафьева, этакая порою компанейски-свойская громкоголосая широта может навести некоторых на то, чтобы тут же, при первом знакомстве, и побрататься, особенно если дело происходит в писательском клубе или в каком другом застолье, а он, Астафьев, разборчив в людях, глянет своим навостренным глазом, незаметно **так** просветит, что ничего и не утаится от него, и уж не допустит до себя человека, заметив черноту в душе.

«Зрячий посох» — не только письма Макарова и весь сюжет дружбы Астафьева с ним. Своих писем он не приводит, но раз дружба и общение двух **литераторов**, то вроде как-то само собой возникают попутные сюжеты, имена, события, воспоминания, сценки из литературного быта. Выделил бы я его «отвлечения» к Константину Воробьеву, Ивану Панькину, Николаю Рубцову. О Рубцове Астафьев мог бы и подробнее рассказать, но сделала это Марья Семеновна. Ее воспоминания в книге о поэте считаю самыми честными и лучшими. Хорошо помню, как, будучи в Вологде, в гостях у Астафьевых, в октябре 1970 года, за три-четыре месяца до трагической гибели Николая Михайловича, слушал сетования Марьи Семеновны, поддержанные Астафьевым, что трудно стало с Рубцовым: приходит частенько — уже и лыка не вяжет, накормишь, отчистишь, отмоешь, спать уложишь, а он втихаря улизнет, набедокурит где-нибудь. И перед этим разговором было с ним: устроил скандал в Архангельске. И казнился, и переживал, знаю: здесь же, в Вологде, часа полтора с ним разговаривал... Судьба очень талантливого и тоже битого жизнью поэта заботила Астафьевых.

Супруги Астафьевы не понаслышке знают, сколь горек хлеб периферийного российского литератора, чего ему стоит, если он человек робкий, совестливый да не умеет гнуть спину,— пробиться в столичные журналы и издательства. Но кто знает, сколько талантливых людей так и не нашли выхода в большую литературу, разменяв себя на мелочишку для разных альманахов, сборников и других заштатных изданий, и по злой российской привычке торили дорогу в кабак, откуда и вовсе не виден свет в окне... Есть у Астафьева и об этом: «Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?»

Каждому молодому человеку, начинающему пробовать силы в литературе, я советовал бы прочитать «Зрячий посох» или рассказ «Тельняшка с Тихого океана» да и многое другое у Астафьева, где он найдет немало «затесей» упреждающего смысла. Но, увы, за четверть века работы с молодыми и в Литинституте, и за его пределами пришлось убедиться, что опыт предшественников, даже самых мудрых, ничему не научает молодых, и все заблуждения и ошибки повторяются с завидным постоянством...

...ЖИВЕТ в Сибири писатель. Виктор Астафьев. Не ходит на митинги. Не витийствует. Думает о душе. Пишет книги. С начала семидесятых знаю, с каким пиететом относится он к Солженицыну, поэтому и просится в строку слово Александра Исаевича:

«Политическая жизнь — совсем не главный вид жизни человека, политика — совсем не желанное занятие для большинства. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь — тем более утрачивается душевная».

Астафьев всегда принадлежал к этому большинству, он сам недавно сказал: «Не в политике наше спасение»,— поэтому и подписал декларацию **сообщества независимых писателей**. Бог дал ему могучий писательский дар, и он поставил его на то — продолжим Солженицына, — чтобы «отстоять душу, освободить ее для жизни ума и чувств».